# Княгиня Лиговская

**Автор:**
Михаил Лермонтов

Княгиня Лиговская

Михаил Юрьевич Лермонтов

Проза Михаила Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов

Княгиня Лиговская

Глава I

Поди! – поди! раздался крик!

Пушкин

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. – Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой, и мечтая о награде и вкусном обеде – ибо все чиновники мечтают! – На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник – и сумерки; – казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым

воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умиленьем, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и смутившись извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, – потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою. Долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы, – и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; – самые же ужасные мучители его были извозчики, – и он ненавидел извозчиков; «барин! куда изволите? – прикажете подавать? – подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. – Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар… раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, – но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь придти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль до по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке – и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

Ну, сударь, – сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, – Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора… она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу; – об раздавленном чиновнике не было и помину… Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность – к несчастию, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, – если это не плеоназм. – Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, – и в свете утверждали, что язык его зол и опасен… ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: – свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности… толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то…

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было 23 года, – и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, – последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! – виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощию божией и хорошенького личика и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей взошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать… «Я обедать не буду, – был ответ: я завтракал!..» Потом взошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький, и с виду большой плут, – и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

– Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, – отвечал Федька, – и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

– Что ж ты принес ее ко мне?

– Да я думал, что всё равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

– То-есть, тебе хочется узнать, что тут написано.

– Да-с, – эти господа никогда еще у нас не были.

– Я тебя слишком избаловал, – сказал Печорин строгим голосом, – набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство… Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу… притом в комнате не было свеч – она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. – Но любопытство превозмогло, – он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина… на ней было напечатано готическими буквами: князь Степан Степаныч Лиговский, с княгиней. – Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, – то улыбаясь, то хмуря брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: – увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела, – и на ней едва только можно было разобрать Степан Степ…

Печорин положил эти бренные остатки на стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками – и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья, или движению листа бумаги… хотя он не верил привидениям… но вздрогнул, быстро поднял голову – и увидел перед собою в сумраке что<-то> белое и, казалось, воздушное… с минуту он не знал на что подумать, так далеко были его мысли… если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты…

– Кто это? – спросил он.

– Я! – отвечал принужденный контральто – и раздался звонкий женский хохот.

– Варенька! – какая ты шалунья.

– А ты спал!.. ужасно весело!..

– Я бы желал спать. Оно покойнее!..

– Это стыд! – отчего нам на балах, в обществах так скушно!.. вы все ищете спокойствия… какие любезные молодые люди…

– А позвольте спросить, – возразил Жорж зевая, – из каких благ мы обязаны забавлять вас…

– Оттого, что мы дамы.

– Поздравляю. Но ведь нам без вас не скушно…

– Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою?

– Моды, новости… разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны…

– Какие тайны? – у меня нет тайн… все молодые люди так несносны…

– Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

– Пускай привыкают – они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

– Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки… а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. – Она была вместе и кабинет и гостиная; и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены… лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером, или когда солнце ударяло в стеклы, опускались пунцовые шторы, – противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипою картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей, – по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемою сеткой зеленого плюща, по другую кресла, на которых теперь сидел Жорж… На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; – другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом… на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини… остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; – одна единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. – Картина эта была фантазия, глубокая мрачная. – Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, – казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке… Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным

блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; – она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания – и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. – Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

– Что это такое? Степан Степ… А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговский!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем, – она была такая добрая… я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. кто же сжег эту карточку… Её бы надо подать маменьке!

– Кажется, я, – отвечал Жорж, – раскуривал трубку!..

– Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала… ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. Я ей скажу, скажу – непременно!.. впрочем, нет! теперь ей должно быть всё равно!.. она ведь замужем!..

– Ты судишь очень здраво для твоих лет!.. – отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить…

– Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в 17 лет так же благоразумна, как мужчина в 25.

– Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому, похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они с замолчали… Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р***.

– Какая тоска! – воскликнул Жорж. – Надо ехать.

– Там будет mademoiselle Negouroff!.. – возразила ироническим тоном Варенька. – Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у нее глаза! – прелесть!..

– Как угль, в горниле раскаленный!..

– Однако сознайся, что глаза чудесные!

– Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

– Смейся!.. а сам неравнодушен…

– Положим.

– Я и это расскажу Верочке!..

– Давно ли ты уверяла, что я для нее – всё равно!..

– Поверьте, я лучше этого говорю по-русски – я не монастырка.

– О! совсем нет! – очень далеко…

Она покраснела и ушла.

Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день… они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намёк на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги – и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились – одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. – Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: Милостивой гос<ударыне> Елизавете

Львовне Негуровой в собственные руки; – потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту – да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию господина, стрелой помчался в лавочку; а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако, в этой в поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

## Глава II

Давали Фенеллу (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу… Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны – и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. – Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложи не все еще съехались; – между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; – дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» – подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы… ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья… В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы

там и услышите.

На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален – или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки, – а с этими-то именно он никогда не знакомился… У него прежде было занятие – сатира, – стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, – и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; – но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною… Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала и во всё горло; – Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад – она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; – и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!

Загремела увертюра; всё было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно, – и он желал бы очень наконец увидать людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, – и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, – но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтобы разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, – раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза… но как назло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. – У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс – ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александрийского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парою хромых кляч, теснились возле узких дверей театра, и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрыпучие подножки, толпа усастых волокит, вооруженных

блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоем, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. – Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. – Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушая разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор. Печорин ? propos [1 - кстати (франц.)] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони… Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; – кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся – молчание продолжалось с минуту. Сделался кружок, и все предугадывали историю. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул служителя: «что стоит посуда?» – ему сказали цену втрое дороже.

– Этот чиновник так был неловок, что разбил ее, – продолжал Жорж холодно; – вот деньги! – Он бросил деньги на стол – и прибавил:

– Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он всё получил, – и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; – офицеры смеялись еще больше… и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в историю. – О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю… всё равно, вы теряете всё: расположение общества, карьер, уважение друзей… попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. – Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит однако у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкрутство – бесчестие неизгладимое, – достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) – а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю! – о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «бог его знает, какой он человек», и папеньки прибавляют: «мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив: «я имею с вами поговорить!» По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

– Извольте говорить, – отвечал он небрежно. – Только не здесь на морозе.

– Пойдемте в коридор театра! – возразил чиновник. – Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

– Я вас слушаю!..

– Милостивый государь, – голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, – милостивый государь!.. вы меня обидели! вы

меня оскорбили смертельно.

– Это для меня не секрет, – отвечал Жорж, – и вы могли бы объясниться при всех: – я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу… когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра? – я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать… и начали очень остроумно, – прибавил он, насмешливо поклонившись…

– Милостивый государь! – отвечал он задыхаясь, – вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами… и этим хвастаетесь, вам весело! – а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? – Я беден! – да, я беден! хожу пешком – конечно, после этого я не человек. Я же только дворянин! – А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как и буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

– Ваши рассуждения немножко длинны – назначьте час – и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев: – и точно, некоторые из них, спавшие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы…

– Какое дело мне до них! – пускай весь мир меня слушает!..

– Я не этого мнения… Если угодно завтра в восемь часов утра я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес…

– Драться! я вас понимаю! – насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. Нет, я б желал, что<б> вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен…

– В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, – возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

– Нет, постойте, – сказал чиновник, придя несколько в себя, – и выслушайте меня!.. Вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов? Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет… я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных – у меня одна мать, старушка… я всё для нее: я ее провидение и подпора. Она для меня: и друзья и семейство; с тех пор, как живу, я еще никого не любил кроме ее: – потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду…

Он остановился, глаза его налились слезами и кровью…

– И вы думали, что я с вами буду драться?..

– Чего ж, наконец, вы от меня хотите? – сказал Печорин нетерпеливо.

– Я хотел вас заставить раскаяться.

– Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

– А разве задавить человека ничего – шутка – потеха?

– Я вам обещаюсь высечь моего кучера…

– О, вы меня выведете из терпения!..

– Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал и наконец он воскликнул:

«Нет, не могу, не погублю ее!..» – и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вослед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу… Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

## Глава III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александрийского театра, замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду… внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду – и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали – одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, – и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, – кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. – Это была миньятюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом: «Отчего вы так сериозны, monsieur George? [2 - господин Жорж (франц.)] – вы недовольны спектаклем?»

– Напротив, я во всё горло вызывал Голланда!

– Не правда ли, что Новицкая очень мила!

– Ваша правда.

– Вы от нее в восторге?

– Я очень редко бываю в восторге.

– Вы этим никого не ободряете! – сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться…

– Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении! – отвечал Печорин небрежно. – И притом восторг есть что-то такое детское…

– Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене… давно ли…

– Право…

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп… ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое… в эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «карета князя Лиговскова!».. С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям… перед ним человека за четыре, мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки… лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, – «на Морскую! пошел!».. Интересную карету заменила другая, может быть, не менее интересная, только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. Мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть… Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы – о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьего полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века. «Вот, например, Печорин, – говорил он, – нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, 55 лет) нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне… а не то, чтоб всё по углам с дочкой перешептываться, да глазки делать… что это нынче, страм смотреть!.. и девушки не те стали!.. Бывало, слово лишнее услышат – покраснеют да и баста, уж от них не добьешься ответа… а ты, матушка, 25 лет девка, так на шею и вешаешься… замуж захотелось!»

Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах… – и она не могла произнесть ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

«Уж ты всегда на нее нападаешь… понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся… надо самой не упускать случая! Печорин жених богатый… хорошей фамилии, чем не муж? Ведь не век же сидеть дома… – слава богу что мне ее наряды-то стоят… а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь? – Да кабы замуж не выходили, так что бы было…» и проч…

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем… дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату – а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады, или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи… истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения… и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь – слушать певчих!..

Лизавета же Николавна… о! знак восклицания… погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горничную Марфушу – толстую, рябую девищу!..

дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху… Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца… такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья – приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ… о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения, – то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плечи; – но я не продолжаю описания: никому неинтересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья. Всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман – Марфуша вышла… тишина воцарилась в комнате. Книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

кстати (франц.)

2

господин Жорж (франц.)

---

Купить: https://tellnovel.com/mihail-lermontov/knyaginya-ligovskaya

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити